

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Айрис
Мердок

ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ



РОМАН

Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
М 52

Iris Murdoch
THE BLACK PRINCE
Copyright © Iris Murdoch, 1973
All rights reserved

Перевод с английского
Инны Бернштейн, Анастасии Поливановой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Ильи Кучмы

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-15940-2

© И. М. Бернштейн (наследник),
перевод, 2019
© А. А. Поливанова, перевод, 2015
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга в нескольких отношениях обязана своим существованием мне. Автор ее, мой друг Брэдли Пирсон, возложил на меня заботу о ее опубликовании. В этом примитивно механическом смысле она теперь благодаря мне выйдет в свет. Я также являюсь тем «любезным другом» и проч., обращения к которому встречаются здесь и там на ее страницах. Но я не принадлежу к действующим лицам драмы, о которой повествует Пирсон. Начало моей дружбы с Брэдли Пирсоном восходит ко времени более позднему, чем описываемые здесь события. В пору бедствий ощутили мы оба потребность в дружбе и счастливо обрели друг в друге этот благословенный дар. Могу утверждать с уверенностью, что, если бы не мое постоянное участие и одобрение, эта повесть, вернее всего, осталась бы ненаписанной. Слишком часто те, кто кричит правду безучастному миру, в конце концов не выдерживают, умолкают или начинают сомневаться в ясности собственного рассудка. Без моей поддержки это могло случиться и с Брэдли Пирсоном. Ему нужен был кто-то, верящий ему и верящий в него. И в нужде он нашел меня, свое *alter ego*.

Нижеследующий текст по сути своей, как и по общим очертаниям, является рассказом о любви. Не только поверхностно, но и в основе. История творческих борений человека, поисков мудрости и правды — это всегда рассказ о любви. Он излагается здесь туманно, подчас двусмысленно. Борения и поиски человека двусмысленны и тяготеют к тайне. Те, чья жизнь проходит при этом темном свете, меня поймут. И все

же что может быть проще, чем повесть о любви, и что может быть пленительнее? Искусство придает очарование ужасам — в этом, быть может, его благословение, а быть может, проклятие. Искусство — это рок. Оно стало роком и для Брэдли Пирсона. И совсем в другом смысле для меня тоже.

Моя роль как издателя была проста. Вероятно, мне следовало бы скорее называть себя иначе... Как? Импресарио? Шутом или арлекином, который появляется перед занавесом, а потом торжественно его раздвигает? Я приберег для себя самое последнее слово, заключительный вывод, итог. Но лучше уж мне быть шутом Брэдли, чем его судьей. В каком-то смысле я, по-видимому, и то и другое. Зачем написана эта повесть, станет очевидно из самой повести. Но в конце концов никакой тайны здесь нет. Всякий художник — несчастный влюбленный. А несчастные влюбленные любят рассказывать свою историю.

Ф. Локсий, издатель

ПРЕДИСЛОВИЕ БРЭДЛИ ПИРСОНА

Хотя прошло уже несколько лет со времени описываемых здесь событий, рассказывая о них, я воспользуюсь новейшим повествовательным приемом, когда прожектор восприятия переходит от одного настоящего мгновения к другому, памятуя о минувшем, но не ведая предстоящего. Иначе говоря, я воплощусь опять в свое прошедшее «я» и для наглядности буду исходить только из фактов того времени — времени, во многих отношениях отличного от нынешнего. Так, например, я буду говорить: «Мне пятьдесят восемь лет», как было мне тогда. И я буду судить о людях неточно, быть может, даже несправедливо, как судил о них тогда, а не в свете позднейшей мудрости. Но мудрость — ибо я надеюсь, что справедливо считаю это мудростью, — не вовсе отсутствует в рассказе. В какой-то мере она все равно неизбежно должна будет «озарять» его. Произведение искусства равно своему создателю. Оно не может быть больше, чем он. Как не может в данном случае быть и меньше. Добродетели имеют тайные имена; добродетель сама по себе тайна, недоступная уму. Таинственно все, что важно. Я не сделаю попытки описать или назвать то, чему выучился в строгой простоте той жизни, какой я живу в последнее время. Надеюсь, что стал мудрее и милосерднее, чем был тогда, — счастливее я стал несомненно, — и что свет мудрости, падая на фигуру простака, выявит не только его заблуждения, но и строгий облик правды. Я уже дал понять, что считаю этот «репортаж» произведением искусст-

ва. Этим я не хочу сказать, что он — плод вымысла. Всякое искусство имеет дело с абсурдом, но стремится достичь простоты. Настоящее искусство выражает правду, оно и есть правда, быть может, единственная правда. В том, что излагается ниже, я пытался быть мудрым и говорить правду, как я ее понимаю, не только о поверхностных, «интересных» аспектах этой драмы, но и о том, что лежит в глубине.

Я знаю, что люди обычно имеют о себе совершенно искаженное представление. По-настоящему человек проявляется в долгой цепи дел, а не в кратком перечне самотолкования. Это в особенности относится к художникам, которые, воображая, будто прячут, в действительности обнажают себя на протяжении своего творчества. Так и я весь выставлен тут напоказ, хотя душа в полном противоречии с законами моего ремесла, увы, по-прежнему жаждет укрытия. Под знаком этой предваряющей оговорки я теперь попытаюсь себя охарактеризовать. Говорить я буду, как я уже пояснил, от лица самого себя, каким я был несколько лет назад, — главного и подчас бесславного «героя» этого повествования. Мне пятьдесят восемь лет. Я писатель. «Писатель» — моя самая простая и, пожалуй, наиболее верная общая характеристика. Что я к тому же еще и психолог, самоучка философ, исследователь человеческих отношений, следует из того, что я — писатель, писатель именно моего толка. Я всю жизнь провел в исканиях. Теперь искания привели меня к попытке выразить правду. Свой дар, надеюсь и верю, я сохранил в чистоте. А это означает, помимо прочего, что как писатель я не пользовался успехом. Я никогда не стремился к приятности за счет правды. Я знал долгие мучительные полосы жизни без самовыражения. «Жди!» — вот наиболее властное и священное веление для художника. Искусство имеет своих мучеников, среди них не последнее место занимают молчаливники. Не боюсь утверждать, что есть святые в искусстве, которые просто промолчали всю жизнь, но не осквернили чистоты бумажного

листа выражением того, что не было бы верхом красоты и соразмерности, то есть не было бы правдой.

Как известно, мною опубликовано совсем немного. Я говорю «как известно», полагаясь на славу, приобретенную мною вне сферы искусства. Мое имя пользуется известностью, но, к сожалению, не потому, что я писатель. Как писатель я был и, несомненно, буду понят лишь немногими ценителями. Парадокс, быть может, всей моей жизни, абсурд, служащий мне теперь предметом для постоянных медитаций, состоит в том, что прилагаемый ниже драматический рассказ, столь не похожий на другие мои произведения, вполне может оказаться моим единственным «бестселлером». В нем, бесспорно, есть элементы жестокой драмы, «невероятные» события, о которых так любят читать простые люди. Мне даже выпало на долю, так сказать, вдоволь накупаться в лучах газетной славы.

Свои произведения я здесь описывать не буду. В связи со все теми же обстоятельствами, про которые здесь уже шла речь, о них знают довольно многие, хотя *их* не знает, боюсь, почти никто. Один скороспелый роман я опубликовал в возрасте двадцати пяти лет. Второй роман, вернее квазиroman, — когда мне было уже сорок. Мною издана также небольшая книжица «Отрывки», или «Этюды», которую я не рискнул бы назвать философским трудом. (*Pensées*¹, пожалуй, да.) Стать философом мне не дано было времени, и об этом я сожалею лишь отчасти. Только магия и сюжеты остаются в веках. А как убого и ограниченно наше понимание, этому искусство учит нас, наверное, не хуже, чем философия. В творчестве заключена безнадежность, о которой знает каждый художник. Ибо в искусстве, как и в морали, мы часто упускаем главное из-за того, что способны замешкаться в решающий момент. Какой момент надо считать решающим? Величие в том

¹ Мысли, афоризмы (*фр.*).

и состоит, чтобы определить его; определив же, удержат и растянуть. Но для большинства из нас промежуток между «О, я мечтаю о будущем» и «Ах, уже поздно, все в прошлом» так бесконечно мал, что в него невозможно протиснуться. И мы все время что-то упускаем, воображая, будто еще успеем к этому вернуться. Так губятся произведения искусства, так губятся и целые человеческие жизни оттого, что мы либо мешкаем, либо без оглядки несемся вперед. Бывало так, что у меня появится хороший сюжет для рассказа, но пока я его как следует, во всех подробностях обдумаю, пропадает охота писать — не потому, что он плох, а потому, что он принадлежит прошлому и уже не представляет для меня интереса. Собственные мысли быстро теряли для меня привлекательность. Какие-то вещи я погубил тем, что принялся за них прежде времени. Другие, наоборот, тем, что слишком долго держал их в голове, и они кончились, не успев родиться. Всего лишь за одно мгновение замыслы из области туманных, неопределенных грез переходили в безнадежно старую, древнюю историю. Целые романы существовали только в заглавиях. Кому-то покажется, пожалуй, что три тонких томика, оставшиеся от этого побоища, не дают мне достаточных оснований претендовать на священный титул «писателя». Могу только сказать, что моя вера в себя, мое чувство призвания, даже обреченности, ни на минуту не ослабевали — «само собой разумеется», хотелось бы мне добавить. Я ждал. Не всегда терпеливо, но, по крайней мере в последние годы, все увереннее. Впереди, за пеленой близкого будущего, я неизменно предчувствовал великие свершения. Пожалуйста, смейтесь надо мной — но только те, кто так же долго ждал. Ну а если окажется, что эта побасенка о себе самом и есть моя судьба, венец всех моих ожиданий, почувствую ли я себя обделенным? Нет, конечно, ведь перед лицом этой темной силы человек бесправен. Права на божественную благодать нет ни у кого. Мы можем только ждать, пробовать, снова ждать. Мною дви-

гала элементарная потребность рассказать правду о том, что повсеместно перевернуто и фальсифицировано; поведать о чуде, о котором никто не знает. А так как я художник, мой рассказ оказался художественным произведением. Да будет он достоин и других, более глубоких источников, его питавших.

Еще несколько сведений о себе. Мои родители содержали магазин. Это важно, хотя и не так важно, как полагает Фрэнсис Марло, и, разумеется, не в том смысле, который он имеет в виду. Я упомянул Фрэнсиса первым из моих персонажей не потому, что он самый из них значительный; он вообще не имеет значения и не связан по-настоящему с описанными событиями. Он сугубо второстепенная, вспомогательная фигура в рассказе, как, видимо, и вообще в жизни. Бедняга Фрэнсис органически не способен быть главным героем. Из него вышло бы отличное пятое колесо к любой телеге. Но я делаю его как бы прологом к моему повествованию отчасти потому, что в чисто механическом смысле действительно все началось с него, и если бы в определенный день он не... и так далее, я бы, наверное, никогда... и тому подобное. Вот еще один парадокс. Надо постоянно размышлять об абсурдности случая, что еще поучительнее, чем думать о смерти. Отчасти же я ставлю Фрэнсиса на особое место потому, что из основных актеров этой драмы только он, пожалуй, не считает меня лжецом. Примите же мою благодарность, Фрэнсис Марло, если вы еще живы и случайно прочтете эти строки. Позднее отыскался еще некто поверивший, и это значило для меня несоизмеримо больше. Но тогда вы были единственным, кто видел и понимал. Через бездны времени, протекшего после этой трагедии, мой привет вам, Фрэнсис.

Мои родители держали магазин, небольшую писчебумажную лавку в Кройдоне. Они продавали газеты и журналы, бумагу всевозможных сортов, а также безобразные «подарки». Мы с сестрой Присциллой жили в этом магазине. Ра-

зумеется, не буквально ели и спали в нем, хотя нам нередко случалось пить там чай, и у меня сохранилось «воспоминание» о том, как я якобы спал под прилавком. Но магазин был домом и мифическим царством нашего детства. У более счастливых детей бывает сад, какой-то пейзаж, на фоне которого протекают их ранние годы. У нас был магазин, его полки, ящики, его запахи, его бессчетные пустые коробки, его специфическая грязь. Это было захудалое, неприбыльное заведение. Мои родители были захудалые, неудачливые люди. Оба они умерли, когда мне не было еще тридцати лет, сначала отец, а вскоре за ним и мать. Первая моя книга еще застала ее в живых. Она сразу возгордилась мною. Мать вызвала у меня досаду и стыд, но я любил ее. (Молчите, Фрэнсис Марло.) Отец был мне решительно неприятен. Или, может быть, я просто забыл ту привязанность, которую питал к нему когда-то. Любовь забывается, как я вскоре смогу убедиться.

Больше я о магазине писать не буду. Он и по сию пору снится мне примерно раз в неделю. Фрэнсис Марло, когда я рассказал ему как-то об этом, усмотрел здесь нечто многозначительное. Но Фрэнсис принадлежит к печальному сонму теоретиков-недоучек, которые перед лицом уникальности личной судьбы в ужасе прячутся за общими местами тупого «символизма». Фрэнсис хотел «истолковать» меня. В дни моей славы это же пытались сделать и еще некоторые, поумнее его. Но человеческая личность всегда бесконечно сложнее, чем такого рода толкования. Говоря «бесконечно» (или правильнее сказать: «почти бесконечно»? Увы, я не философ), я имею в виду не только гораздо большее число подробностей, но и гораздо большее разнообразие в характере этих подробностей и большее разнообразие в характере их связей, чем представляют себе те, кто стремится все упрощать. С таким же успехом можно «объяснить» полотно Микеланджело на листе миллиметровки. Только искусство объясняет, само

же оно не может быть объяснено. Искусство и мы созданы друг для друга, и где пресекается эта связь, пресекается человеческая жизнь. Только это мы и можем утверждать, только это зеркало и дает нам верный образ. Конечно, у нас есть и подсознание, о нем отчасти и будет моя книга. Но мы не располагаем картами этого недоступного континента. «Научными» картами, во всяком случае.

Моя жизнь до описанной здесь драматической кульминации протекала вполне безмятежно. Иной бы сказал, даже скучно. Если позволительно употребить такое красивое и сильное слово в неэмоциональном контексте, можно сказать, что моя жизнь была возвышенно скучной — прекрасная скучная жизнь. Я был женат, потом перестал быть женат, как я расскажу ниже. Детей у меня нет. Я страдаю периодически желудочными расстройствами и бессонницей. Почти всю жизнь я жил один. До жены, а также после нее были другие женщины, о которых я здесь не говорю, поскольку они не имеют значения и к делу не относятся. Иногда я представлялся самому себе стареющим Дон Жуаном, но большинство моих побед относятся к миру фантазий. В последние годы, когда было уже слишком поздно начинать, я иногда жалел, что не вел дневника. Человеческая способность забывать поистине безгранична. А это был бы неоспоримо ценный памятник. Мне часто приходило в голову, что своего рода «Дневник соблазнителя», одобренный метафизическими рассуждениями, был бы для меня, вероятно, идеальной литературной формой. Но эти годы прошли и канули в забвение. О женщинах — все. Жил я в целом бодро, одиноко, но нельзя сказать, чтобы нелюдимо, иногда бывал подавлен, часто печален. (Печаль и бодрость не несовместны.) У меня почти не было в жизни близких друзей. (Я не мог бы, мне кажется, иметь своим другом женщину.) В сущности, эта книга повествует о такой «близкой дружбе». Заводил я знакомства, правда не близкие («приятельства», пожалуй, можно их назвать),

и у себя на службе. О годах, проведенных на службе, я здесь не говорю, как не говорю и об этих приятелях, не из неблагодарности, а частично из эстетических соображений, поскольку эти люди не фигурируют в моем рассказе, и, кроме того, из деликатности, так как они, возможно, больше не хотят, чтобы их имя упоминалось в связи с моим. Из этих приятелей называю одного Хартборна — он был типичным обитателем мира моей великой скуки и может дать представление об остальных, кроме того, он по ошибке, но из искренних дружеских чувств все же оказался замешан в моей судьбе. Мне, пожалуй, следует объяснить, что «службой» моей была контора финансового управления и что я почти все годы служил там налоговым инспектором.

Повторяю, что не пишу здесь о себе как о налоговом инспекторе. Не знаю почему, но эта профессия, подобно профессии зубного врача, вызывает у людей смех. Однако, по-моему, это смех натужный. И зубной врач, и налоговый инспектор, естественно, символизируют для нас подспудные ужасы жизни; они говорят о том, что мы должны платить, даже если цена разорительная, за все наши удовольствия, что блага даются нам в долг, а не даруются, что наши самые невосполнимые богатства гниют уже в процессе роста. А в прямом смысле — что еще причиняет нам такие неотступные страдания, как подоходный налог или зубная боль? Отсюда, конечно, и эта скрытно-враждебная защитная насмешка, с какой тебя встречают, как только ты объявишь о своей причастности к одной из этих профессий. Я всегда считал, однако, что только для таких дураков, как Фрэнсис Марло, человек, избирающий профессию налогового инспектора, — скрытый садист. Не знаю никого, кто был бы дальше от садизма, чем я. Я тих до робости. Но получилось так, что даже мое мирное и почтенное занятие было в конце концов использовано против меня.

К моменту, когда начинается этот рассказ, — а мне недолго осталось откладывать его, — я уже не работал у себя в на-

логовой конторе, удалившись от дел раньше пенсионного возраста. Я пошел в налоговые инспекторы, потому что нуждался в зарботке, которого, я знал, мне не дало бы писательство. И ушел со службы, когда наконец скопил достаточно денег, чтобы иметь приличный годовой доход. Жил я, как уже говорилось, до недавнего времени тихо, без трагедий, но с высшей целью. Я неустанно трудился и терпеливо ждал, когда наступит час моей свободы и я смогу только писать. С другой стороны, я умудрялся понемногу писать и в годы рабства и не склонен, как некоторые, относить недостаток своей продуктивности за счет недостатка времени. В целом я считаю себя скорее счастливецем. Даже сейчас. Может быть, в особенности сейчас.

Потрясение от ухода со службы оказалось сильнее, чем я ожидал. Хартборн предупреждал меня, что так будет. Но я не верил. По-видимому, я человек привычки в большей мере, чем мне казалось. А может, тут дело в том, что я глупейшим образом ожидал прихода вдохновения с первым же проблеском свободы. Так или иначе, я не был готов к тому, что дар мой меня покинет. Прежде я все время писал. Вернее, все время писал и все время уничтожал написанное. Не буду говорить, сколько страниц мною уничтожено, цифра эта огромна. И в том была моя гордость и моя печаль. Иногда мне казалось, что я зашел в тупик. Но я ни на минуту не отчаивался в своем стремлении к совершенству. Надежда, вера и самоотверженное служение вели меня вперед, и я продолжал трудиться, стареть и жить наедине со своими эмоциями. По крайней мере, я знал, что всегда могу написать что-нибудь.

Но вот я оставил налоговую контору и мог теперь каждое утро сидеть у себя дома за письменным столом, обдумывая любую мысль. И тут оказалось, что у меня вообще нет никаких мыслей. Но я и это перенес с бесконечным терпением. Я ждал. Я снова постарался выработать упорядоченный

образ жизни, создать монотонность, из которой рождаются всплески. Я выжидал, вслушивался. Я живу, как подробнее будет объяснено ниже, в шумной части Лондона, в некогда приличном, а ныне захудалом квартале. Думаю, мы вместе, мой квартал и я, пустились в это паломничество, уведшее нас от «приличия». Но теперь шум, которого я прежде не замечал, стал действовать мне на нервы. Впервые за всю жизнь я испытал потребность в тишине.

Правда, как могут мне заметить не без язвительной иронии, я всегда был в каком-то смысле приверженцем безмолвия. Нечто подобное сказал мне однажды со смехом Арнольд Баффин и очень меня обидел. Три небольшие книжки за сорок лет непрерывного литературного труда — это нельзя назвать многоречивостью. Если я действительно умею различать истинные ценности, то я, во всяком случае, понимал, как важно бывает держать до поры до времени язык за зубами, пусть даже это грозит тебе молчанием на всю жизнь. Писательство — как женитьба. Ни в коем случае не следует делать решительного шага, пока сам не изумишься своему счастью. Неумеренное словоизвержение мне всегда претило. Вопреки модному мнению, негативное сильнее позитивного и его владыки. Но тогда я нуждался в самой настоящей, буквальной тишине.

И я принял решение уехать из Лондона и сразу же почувствовал себя ближе к моему зарытому кладу. Ко мне вернулась вера в собственные возможности, я ощутил в груди ту дремлющую, выжидающую силу, которая и есть благодать художника. Я решил снять на лето домик у моря. За жизнь я не насытился морем. Мне не пришлось жить наедине с ним, проводить дни и ночи в пустынном месте на берегу, где слышен лишь звук прибоя, который даже и не звук вовсе, а голос самой тишины. В связи с этим должен рассказать об одной довольно дикой идее, которую я вынашивал в течение долгих лет: я почему-то придумал, что достигну величия как пи-

сатель, только пройдя через некое *испытание*. Напрасно я ждал этого испытания. Даже тотальная война (я не был в армии) не нарушила спокойного хода моей жизни. Казалось, безмятежность — мой злой рок. Она так завладела мной и так велика была моя душевная робость, что лето вне Лондона уже представлялось мне чуть ли не подвигом. Правда, для человека моего склада, старомодного, неврастенического, с пуританскими наклонностями, раба своих привычек, такой выезд и в самом деле был целым приключением, отчаянно смелым, опасным шагом. А может быть, я в глубине души знал, какие грозные чудеса ждут наконец свершения, замерев на грани бытия за легкой завесой близкого будущего? Мой ищущий взгляд упал на объявление в газете: за умеренную плату сдается на взморье домик, называется «Патара». Я написал, обо всем условился и уже готов был к отъезду, когда Фрэнсис Марло, точно вестник судьбы, постучал в мою дверь. В конце концов я все же попал в «Патару», но там происходило совсем не то, что сулили мои предчувствия.

Перечитывая сейчас это предисловие, я убеждаюсь, сколь неполно передает оно мою сущность. Как мало вообще могут передать слова, если только это не слова гения. Я хотя и творческая личность, но скорее пуританин, чем эстет. Я знаю, что жизнь человеческая ужасна. Знаю, что она ни в чем не подобна искусству. Я не исповедую никакой религии, только верую в собственное предназначение. Обычные религии родственны снам. В них под тонким наружным слоем прячутся бездны ужаса и боязни. Любого человека, даже самого великого, ничего не стоит сломить, спасения нет ни для кого. Любая теория, отрицающая это, лжива. У меня нет никаких теорий. Вся политика — это осушение слез и нескончаемая борьба за свободу. Без свободы нет ни искусства, ни правды. Я преклоняюсь перед великими художниками и перед людьми, способными сказать «нет» тиранам.

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

Остается написать слова посвящения. Прежде всего, есть некто, кого я, разумеется, не могу здесь назвать. Но я от всего сердца, по долгу справедливости, а не красноречия ради посвящаю этот труд, Вами вдохновленный и благодаря Вам написанный, — Вам, мой любезный друг, мой товарищ и наставник, и выражаю благодарность, мера которой известна Вам одному. Знаю, что Вы будете снисходительны к его многочисленным изъясам, как неизменно, с милосердным пониманием прощали столь же многочисленные слабости его автору

Брэдли Пирсону.

Далее следует рассказ Брэдли Пирсона, озаглавленный:

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

Праздник любви



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вероятно, эффектнее всего было бы начать рассказ с того момента, когда позвонил Арнольд Баффин и сказал: «Брэд-ли, вы не могли бы сюда приехать? Я, кажется, убил свою жену». При более глубоком подходе, однако, естественнее, чтобы действие открыл Фрэнсис Марло (в роли пажа или горничной, что, конечно, пришлось бы ему по душе). Он появился на сцене примерно за полчаса до решающего звонка Арнольда, и то известие, которое он мне принес, служит как бы рамкой, или контрапунктом, или наружной оболочкой драмы Арнольда Баффина, свершавшейся тогда и позднее. Впрочем, мест, с которых можно начать, много. Я мог бы, например, пойти от слез Рейчел или от слез Присциллы. В этой истории проливается немало слез. Но если не упрощать, любой порядок изложения окажется условным. Действительно, с чего вообще начинается все? Уже одно то, что три из четырех предложенных мною зачинов не соединяет никакая причинная связь, наталкивает на самые безумные мысли о тайне человеческих судеб.

Как уже было сказано выше, я как раз собирался уехать из Лондона. Сырой, промозглый майский день клонился к вечеру. Ветер не приносил аромата цветов, а только оставлял на теле холодную, простудную испарину, которую тут же принимался сдирать вместе с кожей. Чемоданы мои были уложены, и я собирался позвонить и вызвать такси, даже уже поднял трубку, когда на меня вдруг нашло то состояние нервного торможения, та потребность помедлить с отъездом,

сесть и еще раз все обдумать, которую, как говорят, русские возвели в обычай. Я положил назад телефонную трубку, возвратился в свою заставленную викторианской гостиной мебелью гостиную и сел на стул. И сразу меня охватило мучительное беспокойство о множестве разных вещей, которые я уже тысячу раз проверял. Довольно ли я взял с собою снотворных таблеток? Не забыл ли микстуру с белладонной? Уложил ли свои записные книжки? Я могу писать только в записных книжках особого формата, разлинованных строго определенным образом. Я поспешил обратно в переднюю, отыскал, разумеется, и записные книжки, и таблетки, и белладонну, но чемоданы мои были теперь наполовину распакованы, и я ощущал довольно сильное сердцебиение.

Я занимал тогда, как, впрочем, уже задолго до этого, небольшую квартиру на первом этаже в глубине живописного старого квартала в Северном Сохо, неподалеку от башни Почтамта. Это довольно обшарпанный, наполненный неумолчным уличным шумом район, но я предпочитал его благородную столичную бедность чрезмерной неотесанной сытости пригородов, прельстившей Баффинов. Все мои окна выходили во двор. Из спальни были видны мусорные баки и пожарная лестница, из гостиной — глухая кирпичная стена, заляпанная грязью. Моя гостиная (собственно, это была не комната, а только полкомнаты, вторая половина, голая и необжитая, служила спальней) была обшита панелями того благородного пепельно-зеленого оттенка, который приобретается только после пятидесяти лет постепенного выцветания. Эту квартиру я до отказа набил мебелью, викторианскими и восточными безделушками, разнообразными мелкими *objets d'art*¹, диванными подушечками, инкрустированными подносами, бархатными скатертями, даже салфеточками, даже кружевами. Я не коллекционирую, я просто накапливаю. Кроме того, я скрупулезно аккуратен, хотя и мирюсь с пылью. Темное уютное логово — вот что такое была моя квартира, один

¹ Произведениями искусства (*фр.*).

усложненный интерьер и ничего снаружи. Только за порогом парадного, которое еще не было входом в мою квартиру, можно, задрвав голову, увидеть над крышами кусок неба и уходящую ввысь нагую башню Почтамта.

Вот как получилось, что я отложил свой отъезд. Что, если бы я этого не сделал? Я собирался скрыться на все лето, хотя места этого я никогда не видел и снял дом заочно. Арнольду я не сказал, куда еду. Я напустил таинственности. Почему, интересно бы знать? Из какой-то скрытой недоброжелательности? Неизвестное всегда представляется значительнее, чем оно есть на самом деле. Я сказал ему твердо и уклончиво, что буду путешествовать за границей и не могу дать определенного адреса. Зачем эта ложь? Вероятно, отчасти из желания удивить его. Всем было известно, что я никогда никуда не езжу. Наверное, я решил, что мне пора удивить Арнольда. Не сообщил я о предстоящем отъезде и своей сестре Присцилле. В этом как раз не было ничего странного. Она жила в Бристоле с мужем, который был мне решительно несимпатичен. Что, если бы я успел уйти из дому до того, как постучался Фрэнсис Марло? Что, если бы к остановке успел подойти трамвай и увезти Гаврилу Принципа¹, прежде чем автомобиль эрцгерцога выехал из-за угла?

Я снова уложил чемоданы и сунул в карман, чтобы перечитать в поезде, третий вариант моей рецензии на последний роман Арнольда. Плодовитый и популярный романист Арнольд Баффин, выпускающий по книге в год, никогда не исчезает из поля зрения публики. У меня с ним расхождения по вопросу о его творчестве. Бывает, что близкие друзья соглашаются между собой о том, что в чем-то важном они не согласны, и эту область обходят молчанием. Так какое-то время было и у нас. Художники — обидчивый народ. Однако, проглядев последнюю книгу Арнольда, я нашел в ней кое-какие похвальные, на мой взгляд, черты и поэтому согласился написать рецензию в воскресную газету. С рецензиями

¹ Серб, убивший летом 1912 г. австрийского эрцгерцога Фердинанда, что послужило толчком для начала Первой мировой войны.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие издателя	5
Предисловие Брэдли Пирсона	7

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ **Праздник любви**

Часть первая	21
Часть вторая	243
Часть третья	353
Послесловие Брэдли Пирсона	437
Четыре послесловия четырех действующих лиц	
Послесловие Кристиан	451
Послесловие Фрэнсиса	455
Послесловие Рейчел	460
Послесловие Джулиан	467
Послесловие издателя	472

Мердок А.

М 52 Черный принц : роман / Айрис Мердок ; пер. с англ. И. Бернштейн, А. Поливановой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. — 480 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-15940-2

«Черный принц» вошел в золотой фонд мировой литературы (а также в шорт-лист Букеровской премии) и создал Айрис Мердок славу самой «английской» писательницы XX века. «Черный принц» — это вершина психологической прозы автора; это своеобразный, замкнутый внутри себя мир, существующий по своим собственным законам, мир, одновременно логичный и причудливый, реалистичный — и в чем-то ирреальный. Любовь и предательство, цинизм и порядочность — эти взаимоисключающие понятия характеризуют большинство героев книги. Итак, Брэдли Пирсон, стареющий писатель, переживает творческий кризис. Окруженный требующими постоянного внимания и заботы родственниками, терзаемый бывшей женой, он пытается найти утешение в любви к молоденькой девушке, дочери друга. Эта любовь, обреченная с самого начала, неминуемо ведет к катастрофе.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

АЙРИС МЕРДОК
ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректор Анна Быстрова

Подписано в печать 27.11.2018. Формат издания 60 × 90^{1/16}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 30. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-ILN-24351-01-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В МОСКВЕ

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;
info@azbooka-m.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В КИЕВЕ

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru
www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества
размещена по адресу:
www.azbooka.ru/new_authors/